

В.Д. Соловей
РЕВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ?

Возможно ли повторение французского опыта в России? По горячим следам парижских погромов этот вопрос довольно широко обсуждался отечественными СМИ. Несмотря на столь спекулятивную постановку вопроса, важность обсуждения состояла в том, что оно привлекло широкое внимание к проблеме миграции в России: ее демографическому значению, социополитическим и культурным последствиям.

В то же время серьезная интеллектуальная реакция на французские события носила двойственный характер. С одной стороны, доказывалась неуместность экстраполяции французского опыта на нашу страну. При этом справедливо указывалось, что важным стабилизирующим фактором парадоксально оказывается низкий уровень социальной интеграции иммигрантов в не отличающееся социальным благополучием российское общество: в нашу страну едут не для получения социальных льгот и пособий, а заранее настраиваясь на тяжелую и непрестижную работу. В отечественных городах не существует национальных гетто. Иммигранты в Россию и принимающая сторона в подавляющем большинстве прошли социализацию в советскую эпоху, социокультурная дистанция между ними не велика. Можно сказать, что все мы вышли из шинели "советского народа".

С другой стороны, сдержанный оптимизм в оценках отечественной ситуации не выходил за пределы краткосрочной перспективы, в то время как в анализе уже среднесрочной перспективы проглядывали скрытая тревога и беспокойство. Вот характерная цитата: "Через несколько лет острый кризис может достичь и нашей страны, если внятная политика не станет предотвращать вполне очевидные негативные тенденции в сфере миграции... французских событий у нас не будет, но социально-национальные кризисные ситуации в России возможны" [1].

К этому предостережению стоит прислушаться в связи с влиятельной и (насколько можно понять) официально разделяемой позицией о необходимости поощрения трудовой иммиграции в Россию по причине острого демографического кризиса и прогрессирующего сжатия трудовых ресурсов. Уменьшение численности трудоспособного населения началось уже с 2006 г. По расчетам демографов, для поддержания неизменной численности населения России на протяжении последующих 50 лет необходим миграционный прирост в размере от 35 млн. человек в случае позитивно развивающейся демографической ситуации и до 69 млн. человек при неблагоприятной ее динамике. То есть размер ежегодной миграции должен составлять от 690 тыс. до 1,4 млн. человек. Для обеспечения устойчивого роста населения страны на 0,5% в год миграционный прирост должен составлять от 1,5 до 2,4 млн. человек ежегодно [2].

Однако совокупный демографический потенциал для иммиграции на *постоянное жительство* в РФ из стран СНГ и Прибалтики в перспективе ближайших 10–15 лет составляет немногим более 9 млн. человек (это максимальная оценка), из которых лишь около половины — восточные славяне и русскоязычное население. При самых благоприятных условиях ежегодная иммиграция в Россию

СОЛОВЕЙ Валерий Дмитриевич — доктор исторических наук, эксперт Горбачев-фонда.

на постоянное жительство из ближнего зарубежья составит в среднем 400–600 тыс. человек [3, с. 60, 183]. Это — нижний предел (и даже меньше) необходимого объема миграции. Другими словами, в ситуации демографического кризиса стране придется привлекать рабочую силу и, вероятно, мигрантов на постоянное жительство из Средней Азии и Китая. В отечественной прессе уже появлялись глухие намеки на существование некоего российско-китайского межправительственного соглашения, предусматривающего ежегодный ввоз в Россию около 0,5 млн. китайцев в течение 10–15 лет. Соглашение якобы парафировано, но не вступило в действие.

В настоящее время численность нелегальных мигрантов в нашей стране оценивается приблизительно в 5 млн. человек, из них примерно 1,5 млн. — постоянно проживающие в России нелегальные иммигранты из стран дальнего зарубежья, половину которых составляют китайцы. Это, конечно, не 17 млн. нелегалов в США, нелегальных иммигрантов в России значительно проще легализовать. В регионах России доля нелегальных иммигрантов варьируется от 0,5% до 3%, достигая в Москве более 10% [3, с. 52, 143].

В стране наметилась долговременная тенденция изменения этнического баланса: сокращение абсолютной численности и доли русских и ряда других российских народов и повышение численности и доли иммигрантов из Средней Азии и Китая в составе населения. Так что же, через 10–15 лет России придется столкнуться с восстанием "иноплеменной" этничности, первые признаки которого сейчас проявляются на Западе?

На самом деле восстание уже началось, но это *восстание русской этничности*. Что привело меня к подобному выводу? В первую очередь анализ современной русской ксенофобии — явления, чья природа не вполне понята и значение которого в должной мере не оценено. Но прежде чем анализировать природу и своеобразие русской ксенофобии, надо уточнить ее масштабы и степень распространения.

Напомню, что термином "ксенофобия" описывается спектр негативных реакций, испытываемых в отношении "других". Поскольку же в современной России главным объектом этих реакций оказываются группы, выделяемые по этническому, а не социальному, политическому или культурному признакам, то корректнее пользоваться термином "этнофобия". По данным "Левада-центра" наиболее радикальное выражение этнофобии — враждебность к людям других национальностей — испытывали в 2005 г. "очень часто" и "довольно часто" — 13% респондентов, "редко" — 25%, что в сумме дает 38%; не испытывали враждебности "никогда/практически никогда" — 60%. Враждебность со стороны других национальностей испытывали в том же 2005 г. "очень часто" и "довольно часто" — 12%, "редко" — 26%, что в сумме дает те же самые 38%; не испытывал враждебности "никогда/практически никогда" — 61% респондентов. Примечательно, что согласие с "мнением, что во многих бедах России виновны люди "нерусских" национальностей" выразили тоже 38% опрошенных (не согласны с ним — 57%). 33% жителей России считают, что национальные меньшинства в России живут "значительно лучше" или "несколько лучше" русских, но 60% полагают, что они живут "примерно так же", как русские, или "несколько хуже" и даже "значительно хуже" [4, с. 133–134].

Включение в опросы этнических уточнений дает более высокие показатели этнофобии: раздражение, неприязнь и страх "по отношению к приезжим с Северного Кавказа, из Средней Азии и других южных стран" испытывают 47% респондентов (никаких особых чувств — 50%); 55% опрошенных полагают, что за по-

следние годы людей, негативно настроенных в отношении именно этих этнических групп, стало больше; около половины населения считает необходимым введение ограничительных мер в отношении выходцев с Северного Кавказа и мигрантов из "дальнего зарубежья" [4, с. 135, 140].

Правда, до последнего времени этнофобия в России носила преимущественно вербальный характер, не перерастая в масштабные и направленные действия против каких-то этнических групп. Только 26% респондентов ощущали в месте своего проживания межнациональную напряженность, в то время как 70% ее не ощущали [4, с. 136]. Проще говоря, русская этнофобия выражалась в угрюмом бурчании типа "понаехали тут" и "кавказцы все захватили", а широко разрекламированные СМИ нападения по мотивам национальной розни носили спорадический и отнюдь не массовый характер. Даже при всем несовершенстве (или сознательном сокрытии) милицейской статистики, их число составляло две–три сотни в год, но никак не тысячи. Возможно, впрочем, события в Кондопоге стали критическим рубежом, ознаменовавшим актуализацию потенциального недовольства русских, их переход от слов к массовым действиям.

В любом случае масштабы этнофобии в России не могут не впечатлить: ее различным формам — от сравнительно "мягких" до "жестких" — подвержено около половины населения страны. Еще больше впечатляет ее динамика: "В 1989 г. признаки открытой ксенофобии обнаруживали примерно 20% населения СССР, в том числе агрессивной этнофобии — порядка 6–12%... В России эти показатели были заметно ниже *средних* (курсив мой. — В.С.) величин по Союзу в целом" [5, с. 13–14]. До середины 1990-х годов уровень ксенофобии в России был значительно ниже, чем где бы то ни было в Европе — как Восточной и Центральной, так Западной.

Но даже мощная динамика этнофобии не превратила Россию в самую расистскую страну Европы или всего мира, как спешат объявить некоторые наблюдатели (см., например) [6]. В этом отношении мы всего лишь догоняем, но еще не догнали, "политкорректную" и "толерантную" Европу. В 1997 г. одна треть европейцев признала себя "безусловно расистами" и "скорее расистами", еще одна треть — "немного расистами" и лишь оставшаяся треть заявила о своем безусловном неприятии расизма [7]. А с 1997 г. много воды утекло, и настроения европейцев вряд ли изменились в сторону большей терпимости по отношению к чужой "расе".

Не характерна для России и практически повальная исламофобия, охватывающая в таких странах, как Франция и Германия, почти 90% населения [8]. В России исламофобия меньше в разы, несмотря на многолетнюю чеченскую войну и прогрессирующее обострение ситуации на Северном Кавказе.

Другое дело, что наша публичная риторика и язык отечественных СМИ не столь рафинированы, как европейские, да и в быту мы привыкли выражать свои чувства более эмоционально и открыто. Так что впечатление чуть ли не тотальной захваченности общественного мнения этнофобией парадоксально оказывается оборотной стороной культурной свободы, присущей современной России.

Приведенное сопоставление служит вовсе не тому, чтобы "перевести стрелки" с России на Запад и показать, что там дела с ксенофобией, невзирая на почти тоталитарное давление "политкорректности" и "мультикультурализма", обстоят ничуть не лучше, а, возможно, даже хуже, чем у нас. Глубинный исток ксенофобии (и этнофобии как составной ее части) — разделение людей на "мы" и "они", на "своих" и "других" (с модусами "чужой", "враг" и т.д.) — коренится даже не в культурной и социальной архаике, а в биологии. Это генетически наследуемая матрица, архетип в аутентичном юнговском понимании.

Хотя для выделения и осознания группового "мы", — не важно, идет ли речь о принадлежности к социальной, политической или биологической группе, — абсолютно необходимо наличие "другого" — группы с аналогичными свойствами, "другой" вовсе не обязательно "враг". Модусами "чужого" и "врага", что, собственно, и есть ксенофобия, "другой" наделяется в результате конкретных причин и обстоятельств. Иначе говоря, мы обречены жить рядом с "другими", но не обречены рассматривать их как "врагов". Что, кстати, подтверждается низким уровнем этнофобии в России рубежа 1980-х и 1990-х годов. В то время русские проводили отличия между собой и "кавказцами" не менее четко, чем сейчас, однако в большей своей части не рассматривали их как враждебных чужаков.

Ошибочно или, в лучшем случае, односторонне утверждение о негативизации "другого" как необходимом условии образования и воспроизводства позитивного "мы". Да, существует связь между сверхценностью собственной группы и антропологической минимизацией других групп, выделенных на основании того же признака. Однако действительные психологические механизмы ксенофобии оказываются более сложными и изощренными. Так, отечественными психологами было установлено, что основой этнической толерантности (невраждебного отношения к "другому") служит позитивная этническая идентичность, позитивная оценка собственной группы. Таким образом, этнофобия оказывается обратной стороной ощущения угрозы собственной этнической группе. При этом не имеет значения, реальна эта угроза или нет: согласно "теореме Томаса", "если люди определяют ситуации как действительные, то они действительны по своим последствиям" [9, с. 91]. Ощущение угрозы этническому телу, национальному бытию включает *биологический* механизм выживания этнической группы, в том числе такую его составляющую, как этнофобия [9, с. 26–28]. Это важное теоретическое положение в самом общем виде постулирует связь между этнофобией и состоянием этничности. Чтобы раскрыть его, обратимся к анализу наиболее влиятельных гипотез о причинах этнофобии. Таких гипотез три: миграционная; социальная; религиозная и культурно-ценностная.

На поверхности лежит объяснение динамики русской этнофобии нарастанием миграционных потоков на территории России. Сложность в том, что масштабы миграции остаются тайной за семью печатями: официальные оценки варьируются в диапазоне от 1,5 до 15 млн. незаконных иммигрантов; экспертные оценки сходятся на цифре 5 млн. Тем не менее, несмотря на все несовершенство отечественной системы учета (и связанных с этим спекуляций), суммарные масштабы иммиграции в Россию в первое пятилетие нового века вряд ли превышали масштабы иммиграции первой половины 1990-х годов. Но 10 лет назад, в условиях острого социально-экономического и политического кризиса уровень этнофобии был значительно ниже, чем в настоящее время, характеризующееся относительным экономическим подъемом и отсутствием масштабных социополитических кризисов. "Это значит, что ксенофобские настроения не являются специфической реакцией на увеличение *массы* (курсив мой. — В.С.) мигрантов..." [4, с. 133]. Кстати, в кондопожских событиях в фокусе русской ненависти оказалась количественно ничтожная (не более 50 человек) группа чеченцев, в то время как несравненно более многочисленные таджики и узбеки не вызвали заметной реакции.

Это обстоятельство показывает, что объяснение динамики ксенофобии следует искать не столько в увеличении миграционных потоков, сколько в изменении их этнического состава. В первой половине 1990-х годов среди иммигрантов преобладали русские (шире — восточные славяне), возвращавшиеся на "историчес-

кую родину". К середине прошлого десятилетия миграция на постоянное место жительства в основном исчерпала себя и возобладала трудовая миграция, в которой все большую долю составляют мигранты из "дальнего зарубежья". Но и в последнем случае в фокусе этнофобии оказались не родственные русским белорусы и украинцы (которые пока еще составляют самую большую группу в потоке трудовой миграции), а азербайджанцы, армяне, грузины и представители среднеазиатских народов. По отношению к украинцам и белорусам русские демонстрируют самые низкие, пороговые значения этнофобии, в то время как по отношению к выходцам из Азербайджана, Грузии, Армении и государств Средней Азии — высокие и очень высокие. Но абсолютными рекордсменами по части этнического негативизма оказываются народы российского Северного Кавказа (прежде всего чеченцы) и цыгане [4, с. 138–140; 5, с. 14–17; 10].

Сами респонденты склонны объяснять свое негативное отношение к мигрантам совокупностью факторов, относящихся к "культурной дистанции" и социальным аспектам: "они ведут себя нагло и агрессивны, они опасны"; "они торгуют, они наживаются на коренном населении"; "они дают взятки, подкупают милицию и административные органы"; "они отнимают рабочие места у коренного населения"; "большинство преступлений совершается приезжими"; "они чужие, живут по чужому и непонятному нам укладу жизни, говорят на непонятном нам языке" [5, с. 16].

На мой взгляд, эта, осуществленная повседневным сознанием рационализация этнофобии *бессознательно* утаивает если не решающий, то очень важный фактор — "расу", понимаемую в данном случае как фенотипические, внешние различия. Несмотря на все существующие отличия от принимающей стороны в поведении, образе жизни, сферах профессиональной деятельности и культуре, иммигранты большей частью прошли советскую социализацию, худо-бедно владеют русским языком и даже (как в случае с выходцами с Северного Кавказа и цыганами), являются гражданами одной с русскими страны. Но к американцам, немцам и даже японцам русские относятся несравненно более спокойно и лояльно, значительно менее ксенофобски, чем к части бывших граждан СССР или нынешних компатриотов. А ведь культурная дистанция между русским и немцем вряд ли меньше, чем между русским и грузином. Но немец и белый американец несравненно ближе к русским фенотипически. Вероятно, именно внешность ("раса") служит решающим фактором этнической (не)лояльности.

Внимательный читатель в этом месте сразу возразит: а как же японцы? Они фенотипически и культурно несравненно дальше от русских, чем "кавказцы", тем не менее, по отношению к японцам русские настроены значительно более благожелательно, чем в отношении бывших "советских людей". Здесь необходимо ввести разграничение между "реальными" и "виртуальными" этническими группами: с первыми русские находятся в постоянном плотном взаимодействии, со вторыми подавляющее большинство русских не встречалось и оценивает их на основании культурных стереотипов и информации массмедиа. Отсюда и возникает парадокс, когда культурно и фенотипически далекие негры, арабы и японцы оцениваются в целом нейтрально или более позитивно, чем живущие столетиями вместе с русскими "кавказцы" и цыгане. Когда же этнические группы из "виртуальных" превращаются в "реальные", то их восприятие меняется: рестриктивных мер против китайцев и вьетнамцев требует почти такое же количество респондентов, что и против "кавказцев". В то же время преобладающее в современных отечественных СМИ негативное конструирование негативного образа США или прибалтийских стран не приводит к негативизации массового восприятия американцев или эстонцев [4, с. 135, 139].

Таким образом, вырисовывается следующая эмпирическая закономерность: фенотипически близкие русским этнические группы — не важно, "реальные" или "виртуальные" — воспринимаются более позитивно, чем "расово" чужие, причем величина культурной дистанции не имеет принципиального значения. Это подтверждает выдвинутый тезис о ключевом значении "расы" в этнофобии. Весомым аргументом в его пользу служит и крайне отрицательное отношение русских к амальгамации — бракам с чужой "расой".

Но не стоит представлять дело таким образом, будто русские в массе своей — стихийные расисты, не достойные права называться "цивилизованными людьми". Запад, в частности, эталонная иммигрантская политика США, где и родилась на свет божий знаменитая идея "плавильного котла", выглядит в отношении амальгамации вряд ли лучше России. "В США... во второй половине XX в. большинство браков заключалось между представителями своей расы (99%), своей религии (90%) и своего социального класса (от 50 до 80%). Число браков между белым и небелым населением в целом по стране составляло только 2,3% от величины, ожидаемой при панмиксии..." [11, с. 177]. Даже в "стране равных возможностей" расовые барьеры оказываются практически непреодолимыми и, в любом случае, значительно более высокими, чем культурные и социальные.

Прежде чем ужасаться русскому расизму, стоит также сделать поправку на расхождение слов и дел. Вопреки массовому убеждению русских в нежелательности браков с чужой "расой", подобные брачные союзы процветают в Москве. К концу 1990-х годов у русских женщин столицы "стремление заключать внутринациональные браки почти исчезло" [11, с. 176]. Более того, "к 1999 г. доля межэтнических браков, заключенных русскими женщинами, даже превысила уровень, ожидаемый при панмиксии", при этом уже в 1995 г. частота браков с армянами, грузинами, азербайджанцами почти сравнялась с частотой преобладавших дотоле русско-украинских браков. Одновременно стало заметно меньше традиционных для Москвы русско-еврейских и русско-белорусских браков, зато идет заметное увеличение доли браков между русскими женщинами и представителями северокавказских народов [11, с. 180–181]. Но вот этнические группы российской столицы, вышедшие из Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии и Поволжья (кроме башкир), в отличие от русских предпочитают заключать браки внутри собственных групп. Эндогамия характерна также для армян и евреев [11, с. 176].

Таким образом, анализ структуры межнациональных браков в Москве, с одной стороны, серьезно корректирует могущее возникнуть, по данным социологии, представление о массовом "русском расизме". Правда, отказ русских женщин от брачной ассортативности может иметь такое простое объяснение, как острый дефицит русских (и славянских) мужчин вследствие половой диспропорции, остро выраженной именно в столичном мегаполисе, а также ухудшения "качества" потенциальных славянских мужей (рост пьянства и алкоголизма и т.д.). С другой стороны, для нерусских этнических групп значение "расы" сохраняется и даже усиливается.

В конечном счете, не культура и религия, а внешность, тело оказывается той предельной нередуцируемой границей, вдоль которой возникает этническая напряженность. Культурные различия приобретают смысл и значение не сами по себе, а лишь в привязке к этой границе.

Татары и башкиры такие же номинальные мусульмане, как "кавказцы" и народы Средней Азии, однако массовое отношение русских к первым несравненно лучше, чем ко вторым. Почему? Да, опыт совместного исторического проживания

ния русских и татар велик, а татары, в целом, говорят по-русски лучше "кавказцев". Но, возможно, более важна фенотипическая близость? Отличить татарина от русского сможет только специалист-антрополог, да и то не всегда. (К слову, татары и башкиры разделяют в отношении "кавказцев" приблизительно те же самые чувства и эмоции, что и русские; показатели "кавказофобии" у русских, татар и башкир довольно близки.)

Вообще "культурная дистанция" для характеристики выходцев из бывшего СССР выглядит эмпирически описываемой, но теоретически неопределенной величиной. Сомнительной кажется в постсоветском контексте и эвристическая ценность идеи "ценностного разрыва". Его легко постулировать в отношении китайских и вьетнамских иммигрантов, но существует ли он между этническими группами, вышедшими из "общей шинели" СССР? Насколько я знаю, специальных сравнительных исследований на сей счет не существует. Некоторые исследователи говорят о столкновении урбанистической (модернистской) культуры русских с патриархальной (традиционной) культурой иммигрантов. Но если дело обстоит именно таким образом, то почему главной претензией к нежелательным иммигрантам оказываются их успехи в городской среде, к которой, казалось бы, "аборигены" должны быть приспособлены гораздо лучше? Получается, что ценностные конфигурации и модели поведения по крайней мере некоторых из иммигрантских групп более адекватны современности, чем аналогичные принимающей стороны. Значит, эти иммигрантские группы более модернистские, чем городские русские? "Культурная дистанция" и "ценностный разрыв" оказываются плохо операционализируемыми концептами, а выстроенные в опоре на них объяснительные схемы, скорее, затемняют, чем объясняют реальность.

В "сухом", нередуцируемом остатке у нас оказываются биологические (расовые и этнические) различия. Культура и социальная инженерия способны ослабить их, в каком-то ограниченном смысле даже преодолеть, но не элиминировать. "Расой" и этничностью можно манипулировать, их невозможно создать. Другой вопрос, почему и в каких контекстах воспаляются этнические швы, в силу каких причин вчерашние "другие" превращаются в сегодняшних "чужих" и даже "врагов".

Обращение в поисках ответа на этот вопрос к "социальной гипотезе", объяснение динамики этнофобии социально-экономическим кризисом и грандиозными переменами последних 15 лет столь же мало удовлетворительно, что "мигрантская" и "социокультурная" гипотезы. Безусловно, кризисная ситуация стимулировала этнофобию в России, однако *социально-экономический кризис не был ее первопричиной* и определяющим фактором динамики. В этом отношении выявлены лишь слабые корреляции, но не жесткие каузальные связи. "Данные исследований опровергают широко распространенное мнение о том, что ксенофобия связана по преимуществу с ухудшением материального положения, низким статусом либо конфликтом групповых интересов... Она не зависит от политических, идеологических, демографических обстоятельство. Возникновение, развитие либо смещение этнических фобий в этом плане — индикатор изменений *всего* (курсив мой. — В.С.) ценностного поля общественного сознания"[5, с.19].

Заключительная фраза процитированного пассажа служит методологическим ключом к пониманию социального состава отечественных носителей этнофобии. Она не привилегия какой-то социальной группы, а относительно равномерно распределена по всем слоям отечественного общества. Классический социологический портрет ксенофоба — пожилой и малообразованный житель малых и средних городов или села — относится к рубежу 1980-х и 1990-х годов. В настоящее

время этнофобия радикально расширила свою базу, существенно помолодела и захватила элитные слои.

В этом смысле российская этнофобия принципиально отличается от европейской. До сих пор утверждение о меньшей склонности молодежи к ксенофобии считалось аксиоматичным, находя свое подтверждение и в отечественном опыте: "На рубеже 1980–1990-х... молодежь, как демографическая когорта, в целом была гораздо терпимее, чем любые другие возрастные группы... Но им на смену пришли совершенно другие молодые когорты, социализированные в другом социокультурном контексте и воспитанные другими людьми" [5, с. 18]. Нынешняя молодежь в целом демонстрирует очень высокий уровень этнофобии, причем в лидерах этнического негативизма оказалась наиболее образованная ее часть — студенчество.

Примечательно, что среди понятий, вызывающих у населения России негативные коннотации, лидером оказалось понятие "нерусские". С рейтингом 33% оно опередило "капитализм" (31,2%), "революцию" (30%), "коммунизм" (26,1%) и "Запад" (24, 7%) [12, с. 121]. Можно уверенно утверждать, что за 15 лет "демократических и рыночных" реформ этнофобия стала неотъемлемым и важным элементом бытовой и политической социализации.

Парадокс российской ситуации в том, что хорошее образование и приличный социальный статус оказываются не столько прививкой от этнофобии, сколько, похоже, ее стимулом. Именно социальная и статусно-позиционная элита — управленцы и директорский корпус, второй эшелон постсоветской номенклатуры, интеллигенция советского извода — характеризуется крайней устойчивостью этнофобии и наиболее высокими ее показателями. Самая мощная динамика этнофобии наблюдалась именно среди людей с высшим образованием: за 7 лет наблюдений ВЦИОМ доля негативных оценок этнических меньшинств в этой группе увеличилась почти вдвое, вплотную приблизившись к 70%. Только предприниматели демонстрируют несколько меньший уровень недоброжелательства к иноэтническим мигрантам, хотя и в этой группе он превышает 50%.

Можно, конечно, разражаться морализаторскими инвективами в адрес "советской интеллигенции", променявшей окуджавовское "возьмемся за руки, друзья" на угрюмое "Россия для русских" или интерпретировать эту ценностно-культурную трансформацию посредством банализирующих психоаналитических схем а-ля "дедушка Фрейд": комплекс неполноценности, проецирующийся в неприятие успешных чужаков. Но ведь речь идет о настроениях людей, для значительной части которых рефлексия и принятие управленческих решений составляют суть профессии. Стало быть, ими движут не только предрассудки, но и рациональное понимание ситуации, их эмоции хотя бы частично оторефлексированы.

Этнофобия иррелевантна и политической позиции. Она достаточно равномерно распределена среди политического спектра, возможно, за исключением КПРФ, для сторонников которой характерен инерционный советский интернационализм. Самый высокий уровень национальной нетерпимости зафиксирован не среди русских националистов, а среди симпатизантов либерального Союза правых сил; номинально националистический лозунг "Россия для русских" получил наиболее высокую поддержку опять же среди сторонников радикальных рыночных реформ [12, с. 123].

Удивляться этому не стоит: этнофобия и национализм вполне совместимы с ценностями демократии и рынка. Национализм и демократию можно разделить лишь теоретически, в то время как на практике они амальгамируют. Более того, демократические преобразования вряд ли могут осуществляться в иных формах, кроме националистических [13].

Системный и воспроизводящийся характер этнофобии в России, ее социальная и ментальная глубина, хотя бы частичная отрефлексированность как раз и означают, что мы имеем дело с чем-то несравненно большим, чем просто спектр негативных реакций в отношении этнически чужих, что речь идет о глубоком и качественном сдвиге отечественного сознания — как массового, так и элитарного.

Логика подсказывает: если массовые и элитарные ксенофобские реакции в России фокусируются в первую очередь на этнических (а не социальных, политических или культурных) группах, если ксенофобия симптоматизирует сдвиг всего ценностно-культурного поля общественного сознания, то, скорее всего, это поле сдвигается в сторону значительного повышения роли этничности. Конкретнее, в общей структуре русской идентичности растет удельный вес этнической идентичности, возможно (хотя не обязательно), за счет снижения влияния других "больших" идентичностей. В таком случае этнофобия не только сигнализирует о качественном изменении поля общественного сознания в России, но и указывает направление этого изменения, которое вкратце можно определить как "этнизацию русскости".

Косвенное подтверждение эта гипотеза находит в заметных корреляциях русского этнического самосознания и этнофобии. С динамикой социального кризиса развитие этнофобии почти не коррелирует, а с динамикой русской этнической идентичности — очевидным образом. Период острейшей политической и социально-экономической ломки первой половины 1990-х годов стал одновременно эпохой массового национального самоуничтожения, когда страну охватила подлинная эпидемия смердяковщины: "мы хуже всех, мы нация рабов", "мы пример всему миру, как не надо жить" — число подобных ответов в опросах ВЦИОМ с 1990 г. по 1993 г. возросло с 7% до 57%. Но это же время было отмечено очень низким уровнем этнофобии.

Заметная валоризация (повышение ценности) русской этнической идентичности (в другой терминологии — "рост этнического самосознания русских") началась с середины прошлого десятилетия в ситуации относительной социоэкономической стабильности и первой адаптации населения к новой ситуации. Тогда же впервые наблюдался рост (еще не очень значительный) массовой этнической неприязни у русских. Но несравненно более артикулированный и масштабный характер валоризация идентичности и этнофобия приобрели с конца прошлого века. Вероятно, тяжелейший кризис 1998 г. и вторая чеченская война форсировали эти процессы, но вряд ли их влияние было определяющим. Ведь в аналогичной, если не более тяжелой ситуации первой половины 90-х годов русская идентичность находилась во фрустрированном состоянии, а этнофобия имела пороговые значения. Другими словами, и рост национального самосознания, и рост этнофобии происходили бы даже в том случае, если бы дела шли относительно хорошо. Что, кстати, подтверждается динамикой идентичности и этнофобии в последние несколько лет, считающихся пиком времени постсоветской стабильности и "процветания".

Таким образом, этнические и социокультурные процессы в России развивались относительно независимо от экономических и политических факторов. И слава Богу! Если бы этническая идентичность напрямую зависела от социоэкономической ситуации, то острейший кризис конца 1990-х годов должен был вызвать очередную массовую фрустрацию, новый приступ национального мазохизма, чреватый дезинтеграцией страны. Именно валоризация русской идентичности сыграла колоссальную, вероятно, определяющую роль в том, что Россия не рухнула в пучину хаоса после разрушительного дефолта и при бездействовавшей

власти. Потому и не рухнула, что значительная часть общества к этому времени вышла из полосы "черного сознания", преодолев навязывавшееся болезненное самоуничтожение, и хотя бы отчасти восстановила личное и национальное самоуважение. Более того, произошла спонтанная (вне и помимо власти) самоорганизация населения, наметилось даже (еще до "золотого дождя" нефтяных цен) некоторое подобие экономического подъема. Можно сказать, что русское национальное самосознание сыграло роль компенсатора провалов и ничтожества государства. Стойкость и мужество русского народа сохранили тогда страну от ужаса новой Смуты.

Показательно, что именно с 1998 г. начался рост популярности лозунга "Россия для русских": его полная и частичная поддержка увеличилась с 45% в 1998 г. до 53% на исходе 2005 г. [4, с. 137]. Было бы ошибкой или заблуждением трактовать эту идею исключительно как проявление русского национализма, ведь в понимании большинства респондентов ее содержание вовсе не националистическое. Основная часть симпатизантов данного лозунга понимает его в первую очередь как "государственную поддержку русской культуры, национальных традиций", что не имеет никакого отношения к национализму и вообще не содержит негативных коннотаций (47% ответов). Еще для 37% ответов характерна трактовка этой идеи как средства поддержания стабильности в стране: "административный контроль за действиями тех групп нерусских, которые высказывают враждебность ценностям и традициям русского народа". От четверти до трети ответов вкладывают в идею "России для русских" этнофобское содержание: рестриктивные меры в отношении нерусских этнических групп. Однако этнофобия не тождественна национализму. И, наконец, только каждый пятый ответ (21%) можно рассматривать как проявление собственно национализма: "преимущества для русских при занятии государственных и других руководящих должностей, при поступлении в институты" [4, с. 137].

Одновременно снижалась доля ответов, воспринимающих лозунг "Россия для русских" в негативистском ключе: с 32% в 1998 г. до 23% в 2005 г. [4, с. 137]. Последняя цифра почти совпадает с долей нерусского населения в составе современной России — 21%. Из чего, разумеется, не следует, что идею "России для русских" поддерживают исключительно русские, а все нерусские выступают против нее. Тем не менее этническая привязка действительно обнаруживается. В массиве симпатизантов идеи русские составляют более 3/4 (к сожалению, не известно этническое наполнение оставшейся четверти, возможно, это преимущественно украинцы и белорусы), тогда как среди ее категорических противников преобладают именно нерусские, 59% которых оценили ее как "настоящий фашизм" [14].

Таким образом, хотя идея "России для русских" содержит националистический заряд, в своей основе она вовсе не националистическая. Этот лозунг выступает наиболее концентрированным выражением, своеобразным фокусом меняющейся русской идентичности. Рост его популярности, привязка к русскому массиву респондентов, равно как локализация противников данной идеи среди этнических нерусских, свидетельствуют о радикальном изменении структуры русской идентичности и вообще всего ценностно-культурного поля отечественного сознания.

Важно подчеркнуть, что позитивная динамика русской национальной идентичности никоим образом не была стимулирована официальной стратегией "нового государственничества". Здесь присутствовала обратная связь: стихийная и спонтанная валоризация русской этничности побудила власть обратиться к патриотизму, сделав его важной частью официальной идеологической доктрины.

Еще недавно, в первой половине — середине 1990-х годов, культурная и идеологическая политика отечественной элиты целенаправленно дискредитировала русское сознание, национальную историю и культуру. Русским агрессивно навязывались комплекс национальной неполноценности и чувство коллективной вины за демонизировавшуюся империю. Успех массового распространения антирусской мифологии в публичном пространстве был обеспечен благодаря контролю основных коммуникационных каналов и наиболее влиятельных СМИ со стороны либеральной элиты. Дело в том, что структуры отечественного либерального и колониального¹ дискурсов совпадают. Презумпция внутренней ущербности русского народа, периферийность русской цивилизации, неполноценность русской традиции, неадекватность ее ценностей современному (читай, западному) обществу — эта аксиология доморощенного либерализма с "железной необходимостью" продуцирует отношение к России и ее народу как колонизируемой территории с "неполноценным" населением.

Сознательная или неосознанная стратегия негативизации русских и России доминирует в отечественных СМИ (особенно электронных), несмотря на смену высшего политического руководства страны и проведение так называемого "государственнического" курса в идеологии и культуре. Хотя конструирование негативного образа России и русского народа, продуцирование антирусской мифологии происходят теперь в более "мягких" и скрытых формах, суть политики остается неизменной.

Речь идет о гораздо большем, чем социокультурное отчуждение элиты и общества. Эта ситуация как раз типична для России, послужив в начале XX в. капитальной причиной "Красной смуты". Мы имеем дело с аксиологическим и экзистенциальным отвержением русскости и России, в основе чего лежит стремление расстаться с этими общностями и перейти в группу, имеющую более высокий статус. В модели социальной идентификации Г. Тэшфела и Дж. Тернера такое поведение рассматривается как одна из рациональных стратегий преодоления кризиса идентичности: психологическое размежевание и физический выход из группы, статус и престиж которой снижаются [9, с. 18].

В конкретных условиях России эта стратегия оказалась не чем иным, как национальной изменой: условием перехода в высокостатусную группу — мировую элиту — была фактическая сдача страны и колониальная эксплуатация собственного народа. (Хлесткий термин "национальная измена" означает в данном случае не только моральную инвективу, но и политико-правовую констатацию.) Подобное коллективное предательство элиты, к сожалению, не столь уж беспрецедентно для России: в Смуте начала XVII в. оно носило не менее массовый характер, чем последние 15 лет.

Перефразируя Льва Толстого, сказавшего о Пьере Безухове, что тот выздоровел вопреки усилиям врачей, как ни "старалась" отечественная элита, больной все же не умер, хотя и вполне выздоровевшим его назвать также нельзя. Если элита предпочла расстаться с больным этническим сообществом и даже усугубить его состояние политикой этнической негативизации, то общество восстановило собственную позитивную идентичность, пересмотрев ее содержание. Доминанту массовых *стихийных* настроений составило стремление "преодолеть комплекс национальной неполноценности, сформированный под давлением масси-

¹ Заслуга концептуализации колониального дискурса принадлежит Э. Саиду, опубликовавшему в 1979 г. знаменитый трактат "Ориентализм" (см.: Said Edward W. Orientalism. New York, 1979). Недавно эта книга появилась в русском переводе.

рованных медиаатак, вольно или невольно дискредитировавших ключевые системы и фигуры: от старых и новых вождей — до перспектив развития России в целом" [15].

В функциональном отношении этот пересмотр сыграл роль компенсаторного механизма, амортизировавшего исторический провал и кризис прошлого десятилетия. Причем его основой послужили не рациональные калькуляции, а заложенный в природе человека *биологический* механизм самосохранения — глубинная и не нуждающаяся в рациональных доказательствах потребность в позитивных отличиях собственной группы, альтернативой чему была отнюдь не метафорическая смерть русского народа как субъекта истории.

В начале третьего тысячелетия 85% респондентов указывали, что гордятся своей национальностью, а 80,5% испытывали чувство гордости за Россию [16]. Источником самоуважения для русских служило прошлое — славная история и богатая национальная культура, а не составляющие главный предмет современной гордости западных народов актуальные экономические достижения. Однако, несмотря на восстановление позитивного морально-психологического модуса, ощущение глубинной слабости у русских сохранилось, что связано с сохранением и усугублением системного социополитического, экономического кризиса, подорванностью витальной силы. Не может чувствовать себя здоровым и уверенным народ, все структуры бытия которого переживают деградацию и упадок.

Национальное тело России устояло ценой мутации духа. Эта формулировка — метафоричное описание спонтанной этнизации русского сознания, означающей революционный сдвиг в содержании русского Мы. Для лучшего понимания этого процесса следует рассмотреть структуру и динамику современной русской идентичности.

Здесь сразу же бросается в глаза, что русские перестали быть имперским (общесоюзным) народом не только в политико-правовых категориях, но, главное, в ментальном плане. В сущности, 25 декабря 1991 г. было лишь формальной датой гибели советской державы, в умах она почилла в бозе гораздо раньше. В противном случае в стране нашлись бы люди и институты, готовые проливать кровь — чужую и свою — ради ее сохранения как высшей ценности. Внешняя оболочка мессианского государства разрушилась после и вследствие того, как в массовом сознании умерла его идея и ценность.

Это медленное умирание произошло уже в советскую эпоху, а последнее десятилетие русская традиция развивалась в отчетливо внеимперском русле, что подтверждается драматическим ослаблением фантомной советской идентичности и неуклонно продолжающимся снижением рейтинга идеи восстановления СССР. Число ее сторонников не превышает 15% населения (по другим данным, меньше чуть ли не в 2 раза), это преимущественно люди (пред)пенсионного возраста, законопослушные, сторонники коммунистов, которые по своим качественным характеристикам не способны составить силу политического реванша даже в самом богатом воображении [17]. Между тем прошедшее политическую социализацию в посткоммунистической России молодое поколение в подавляющем большинстве идентифицирует себя со страной в ее нынешних границах.

Этот взгляд становится преобладающим среди русских, нередко сочетаясь с идеей "большой России", т.е. сближения и, возможно, объединения трех восточнославянских государств — России, Украины, Белоруссии. Идея славянского союза (тройственного или российско-белорусского) еще держится, но при этом большинство российских респондентов отчетливо предпочитает *союз* суверенных *государств* формированию *объединенного государства*. В отношении постсо-

ветского пространства лейтмотивом становится (обращая внимание на незавершенность процесса) формула: "да" сотрудничеству и интеграции, "нет" — объединению в общее государство.

Не находит поддержки и ирредентистская идея объединения всех русских людей и земель в едином государстве. Путь "железа и крови" чужд русским, принявшим статус-кво: отождествление крайне сомнительных и ущербных *административных* границ РСФСР с *государственными* границами России. Даже осознавая проблемы русских меньшинств в ближнем зарубежье как часть проблем собственно России, "материковые" русские в подавляющем большинстве не склонны выходить за пределы демонстрации моральной солидарности с компатриотами.

Русская идентичность потеряла имперско-союзный характер, утратила мессианское и вообще трансцендентное измерение. Идея особого предназначения русских в эсхатологической перспективе — красная нить русской интеллектуальной и культурной истории — деградировала и не способна более вызывать напряжение, сохраняя значение лишь как ядро исторической идентичности. В современной России социологически не удастся выявить трансцендентно мотивированные системы идей и надличностные ценности, обладающие *массовым* мобилизующим потенциалом. Почти 60% респондентов "заявляют о своей неготовности к каким бы то ни было жертвам во имя какой бы то ни было "великой цели". За исключением угрозы безопасности лично себе и своим самым близким" [12, с. 127].

Однако из необратимого (в силу необратимости эволюции сложных социальных систем) кризиса имперской и мессианской идентичности вовсе не следует, что в России формируется политическая, гражданская нация "россиян". Самоидентификация русских как "граждан России" означает для них прежде всего идентификацию с территорией, а не с политическим сообществом.

Кем же ощущают себя вчерашние хранители Советского Союза и несостоявшиеся члены политической нации? Ответ парадоксально прост: русскими. Массовая этнизация сознания достигла, наконец, русских. Малые народы Российской Федерации пережили ее пик раньше, в первой половине 1990-х годов. Такой крупный национальный массив, как русские, чьей парадоксальной этнической чертой исторически была надэтническая (государственническая) акцентуация, втянулся в этот процесс со значительным опозданием. Да и сейчас русский народ находится лишь в начальной фазе этнической мобилизации. Но уже на этой стадии хорошо заметно приобретение этнической идентичностью несравненно более артикулированных, в сравнении с советской эпохой, форм и значительное повышение ее удельного веса среди других "больших" идентичностей. Изрядно упрощая, можно утверждать: русские все больше склоняются к тому, чтобы считать себя *русскими*, а не гражданами России, православными или атеистами, коммунистами или демократами. Хотя этнизация русского сознания развивается медленно и носит буквально естественно-исторический характер (т.е. сродни природным процессам), она фиксируется социологически, манифестируется политически и культурно.

По большому счету, это подлинная революция, но не в политике или социально-экономической жизни, а в более важной сфере — ментальности и культуре. Происходит без преувеличения исторический переход русского народа к новой для него парадигме понимания и освоения мира — этнической. Кардинально меняется устройство русского взгляда на самое себя и на окружающий мир, который осмысливается и воспринимается с явной или имплицитной этноцентристской позиции. В теоретическом отношении этот процесс отлично описывается из-

вестной концепцией Б.Андерсона о национализме как культурной системе — новом принципе видения и организации социальной реальности. С той важной поправкой, что речь идет не о национализме, а об этнической идентичности.

Вкратце суть происходящего можно охарактеризовать как превращение русских из *народа для других в народ для себя*. Столь радикальная трансформация, знаменующая разрыв с почти пятивековой отечественной традицией — несравненно более фундаментальное и важное по своим стратегическим последствиям изменение, чем политические и экономические пертурбации последних полутора десятков лет.

Дополнительный драматизм революции идентичности придает то обстоятельство, что в структуре самой этнической идентичности биологический принцип (кровь) начинает играть все более весомую роль и конкурирует с культурной компонентой (почвой). Хотя культурно-лингвистическое понимание русскости по-прежнему превалирует, отечественное общество все больше занимают "вопросы крови". Это следует хотя бы из того, что в фокусе русской этнофобии оказались именно визуальные меньшинства, то есть такие, которых отличает от русских неславянская внешность, чужая "раса".

В старших возрастных группах манифестации национализма и расизма в значительной мере нейтрализуются восходящим к Просвещению советским наследием. Но в молодежной среде (причем вне зависимости от социального статуса и уровня образования) отчетливо наметилась тенденция перехода от традиционной для России культурной к биологической матрице этничности. И это значит, что внутри революции — этнизации русского сознания — таится еще более радикальное начало. В общем — традиционная русская матрешка, образы которой, правда, зловещи, а не жизнерадостны.

Нельзя не задаться вопросом о причинах происходящей революции. Хотя возможность этнизации сознания заложена в самой природе человека, из этого во все не следует неизбежность ее реализации, должны быть какие-то причины и обстоятельства, активизирующие этнический пласт сознания, выводящие его на передний план.

Самой общей предпосылкой этнизации сознания послужил всеобъемлющий кризис витальной силы русского народа. Причем наиболее важен не экономический или социальный, а именно психологический, ментальный аспект переживаемой ситуации. Впервые за последние пять столетий национального бытия русские почувствовали (но до конца еще не осознали!) себя слабым и неудачливым народом. У них появилось тягостное чувство, что карты истории на этот раз легли для России неудачно. Это ощущение тем более драматично и беспрецедентно, что на протяжении последней полутысячи лет русские являли собой один из наиболее успешных народов мировой истории.

Ощущение неудачи приобрело характер трагедии, когда на глазах русских и при их молчаливом согласии распалось великое государство — Советский Союз, которое они небезосновательно считали своей Родиной. Миллионы людей в одночасье потеряли скромный достаток и были ввергнуты в нищету; осмеянию и унижению подверглось все, что составляло предмет национальной гордости нескольких поколений; стала очевидной демографическая слабость русских. Убедившись от империи, русские не приобрели уверенности, а наоборот, стали все более неуверенно чувствовать себя даже в собственном доме.

Этимология слова "фобия" — страх, ужас — точно фиксирует переживаемые русскими массовые опасения по поводу их вытеснения из привычного жизненного пространства, трансформации традиционной социокультурной среды обита-

ния, этнической конкуренции в экономике и на рынках труда. Русские испытывают глубокое беспокойство в связи с утверждением "чужаков" в коренной России. Это подлинно чужие — чужие от внешности до манеры поведения, чья биологическая сила контрастирует с русской демографической слабостью, которые не поддаются ассимиляции и в перспективе массового сознания ассоциируются с преступностью и терроризмом.

Ощущение угрозы основам национального бытия, неуверенности в будущем, чувство потерянной удачи поразили русских в ситуации, которая, в общем, не давала оснований для тотального пессимизма и национального самоуничужения. Русские остаются становым хребтом страны в политическом, культурном, экономическом и военном отношениях; составляя 79% населения России, они еще и обладают очевидным демографическим перевесом, чего не было в заключительных исторических фазисах Российской империи и Советского Союза.

Морально-психологический и экзистенциальный кризис мог быть преодолен посредством новых для России форм исторического творчества и самоутверждения. Очевидная логика подсказывала путь выхода из кризиса — строительство нации-государства. Оставляя в стороне интеллектуально увлекательную проблему возможности учреждения национального государства — детища модерна — в мире постмодерна, отмечу, что для России (как вообще для любой конституирующейся страны) не существует альтернативы государственному строительству. В теории именно государство и элиты служат источником новых смыслов и конструируют новые идентичности. Однако стратегия культурно и идеологически доминировавшей на протяжении большей части 1990-х годов группы элиты, минимизировала русскость и Россию. То была не антикризисная, а прокризисная — усугублявшая фрустрацию и морально-психологический упадок — политика.

В более широком смысле в России не получилось строительство эффективно государства — не важно, нации-государства или нет — а просто компетентного государства, исходящего из аксиологии общественного блага. По небезосновательному мнению ряда наблюдателей, именно провал государственного строительства или, в более мягкой формулировке, "сомнение в устойчивости социального порядка, недоверие к институциональной системе" развернули массовое сознание в сторону этнизации — простейшей формы защиты и психологической компенсации. "Наметившаяся пока лишь в качестве тенденции этнизация является ответом общества на негативный результат процесса строительства государства-нации. Не сформировав эффективных общенациональных субъектов, подчинив практическую политику корпоративным интересам, государство само провоцирует всплеск этничности как государственной квазиидеологии" [12, с. 124]. В ситуации слабости государства и ассоциировавшейся с ним идентичности, этнизация, бывшая дотолем *одной из* гипотетических возможностей, стала вероятной.

Вероятное превратилось в неизбежное в контексте нового социального порядка, формирующегося в России нового социального качества. Определение современного российского государства как неудавшегося, недостроенного национального государства, или, в максималистской формулировке, как "конченого государства" — не "схватывает" отечественную реальность. На самом деле в России оформляется принципиально новый в мировой истории тип государства — корпорация-государство. Его зеркальным отражением выступает неоварварское общество. Вкупе корпорация-государство и неоварварское общество образуют принципиально новый социальный строй. Для его социокультурного

вектора характерен сброс наследия Просвещения, отказ от сложных и рафинированных социальных идентичностей в пользу простых, примордиальных. Идет биологизация общества, баланс между "кровью" и "почвой" меняется в пользу первой (что, впрочем, не означает элиминирования "почвы").

Понимание сути исторического момента как генезиса нового социального качества дезавуирует привычное объяснение роста этнофобии и этнизации сознания кризисом модернизирующегося общества, реакцией традиционализма на интенсивную модернизацию. Нет серьезных оснований говорить о проведении в посткоммунистической России модернизационной политики, ибо страна втянута в воронку беспрецедентного антропологического и социокультурного регресса. Но в ходе этого регресса, сопровождающегося имитационным заимствованием ряда западных политических институтов и практик, частичным инкорпорированием некоторых западных экономических механизмов происходит спонтанное, естественно-историческое формирование неоварварского общества и нового социального строя — строя не постмодернистского и не варианта модерна, а его антитезы. В этом смысле этнофобия и этнизация сознания должны рассматриваться не как реакция традиционного общества на модернизацию, а как реакция модернизированного общества на де- и контрмодернизацию.

Можно подытожить: этнизация сознания представляет собой преодоление глубокого кризиса русской идентичности и форму психологической и социокультурной адаптации к новой социальной среде; это — естественный механизм выживания существенно биологической группы, ощущающей кардинальную угрозу своему бытию.

В этом смысле этнофобия есть оборотная сторона процесса этнизации. Если этнизация сознания указывает на изменение содержания русского Мы, то этнофобию в теоретическом плане можно представить как смену русского образа конституирующего Другого.

Ее психологическую подоплеку составляет не экспансионистское устремление, а желание защитить свой очаг, родную землю и привычный образ жизни. У русской этнофобии оборонительная, защитная мотивация. Однако как это глубоко парадоксально для народа, всего лишь два десятилетия тому назад на равных участвовавшего в глобальной конкуренции и ощущавшего мессианское призвание нести всему миру свет правды, справедливости и новой жизни!

На протяжении столетий имперского бытия внутри России русские не испытывали конкуренции и не ощущали созависимости с другими народами — никто не мог бросить вызов их силе, превосходству, встать вровень с ними. Последние 15 лет Запад сохраняет для русских значение конституирующего Другого скорее инерционно, следуя исторической традиции, в то время как в актуальном времени и резко сузившемся российском пространстве подлинным конституирующим Другим русских становится "внутренний чужак". В более осторожной формулировке Запад по-прежнему остается *внешним* конституирующим Другим русских, но впервые за несколько столетий интенсивно формируется образ *внутреннего* конституирующего Другого, конкурирующего с русскими в их собственной вотчине. Посмотрев на эту проблему сквозь призму социокультурной и социальной дифференциации отечественного общества, мы обнаружим, что для отечественной элиты первостепенное значение сохраняет внешний конституирующий Другой, в то время как для народа это значение приобретает внутренний Другой. Причем отношения с последним лишены метафизического, мессианского и глобального измерения; конкуренция с ним рассматривается исключительно сквозь этническую призму.

Таким образом, русские переходят от атрибутирующего государственно-странового и цивилизационного (как это было с Западом) к этническому признаку выделения конституирующего Другого.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уроки французского. Только внятная политика в сфере миграции сможет предотвратить негативные тенденции [Интервью с А.Билаловым] // Независимая газета. 2005. 18 ноября. С. 9.
2. Вишневский А., Андреев Е. Население России в первой половине нового века // Вопросы экономики. 2001. № 1; Они же. В ближайшие полвека население России может расти только за счет миграции // Население и общество. Информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека ИМП РАН. 2001. № 54 (июнь).
3. Уроки французского; Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления развития. Аналитический доклад / Под ред. С.Н.Градириковского. М., 2005.
4. Общественное мнение — 2005. Ежегодник. М., 2005.
5. Гудков Л., Дубин Б. Своеобразие русского национализма. Почему в нем отсутствует мобилизующее, модернизационное начало // Pro et Contra. 2005. Т.9. № 2 (сентябрь–октябрь).
6. Гертман О. Чума развивается нормально. Сегодня мы, возможно, самая расистская страна в мире // НГ Exlibris. 2006. 26 января. С. 6; Гудков Л. Ксенофобия как проблема: вчера и сегодня. И в идеологии, и в массовой психологии российского общества действует один и тот же механизм отталкивания других // Независимая газета. 2005. 26 декабря. С. 10.
7. Тульский М. Треть европейцев — ярые расисты. В основном это представители правой части политического спектра // Независимая газета. 2000. 6 декабря. С. 6.
8. Мусульмане против безбожной Европы? Запад и Восток: в чужой монастырь со своим уставом [Дискуссия] // НГ-религии. 2006. 15 февраля. С. 4.
9. Идентичность и толерантность: Сб. статей / Под ред. Н.М. Лебедевой. М., 2002.
10. Паин Э. Почему помолодела ксенофобия. О масштабах и механизмах формирования этнических предрассудков // Независимая газета. 2003. 14 октября.
11. Курбатов О.Л., Победоносцева Е.Ю. Влияние демографических процессов на генетическую структуру городских популяций // Информационный вестник ВОГиС. 2006. Т.10. № 1 (февраль).
12. Бызов Л.Г. Российское общество в поисках неоконсервативного синтеза // Восточноевропейские исследования. 2005. № 2.
13. Малахов В.С. Национализма как политическая идеология: Учебное пособие. М., 2005. С. 132.
14. Паин Э. Куда движется этнополитический маятник...// Независимая газета. 2003. 27 мая.
15. Омельченко Е. Молодежь для политиков vs молодежь для себя? Размышления о ценностях и фобиях российской молодежи. Доклад на семинаре "Молодежь и политика", 23–26 сентября 2005 г. [Рукопись.] С. 3.
16. 10 лет российских реформ глазами россиян. Аналитический доклад / Институт комплексных социальных исследований РАН; Российский независимый институт социальных и национальных проблем. М., 2002. С. 69, 70.
17. Петухов В. Перспективы трансформации. Динамика идейно-политических предпочтений россиян // Свободная мысль-XXI. 2005. № 6. С. 62.

The author analyses changes in the national self identification of the Russian population, when people tend to feel themselves primarily as ethnic Russians and not only citizens of the Russian Federation. Reasons for growth of Russian xenophobia are also discussed.